



Д. И. ПИСАРЕВ

Цветы невинного юмора

- 1. «Сатиры в прозе» Н. Щедрина**
- 2. «Невинные рассказы» Н. Щедрина**

<Фрагменты>

<...>

Лирические поэты наши питают свое убожество теми мельчайшими крупицами мысли и чувства, которые составляют всеобщее достояние всех людей, глупых и умных, образованных и необразованных, честных и подлых. Всякий человек ощущает что-нибудь, когда смотрит на красивую женщину, и всякий знает это ощущение и понимает, что оно и другим известно и что, стало быть, о нем рассказывать бесполезно и неинтересно. Но лирики, подобно птице колибри, питаются цветочною пылью; они даже это мельчайшее и известнейшее чувство обратили в свою собственность и стали извлекать из него доход, благодаря своему умению творить все из ничего и надевать на неосязаемую пыль легкотканые и весьма пестрые одежды из ямбов, хореев, анапестов, дактилей и амфибрахийев Лирики, как мелкие пташки в великой семье паразитов, пробавляются тем, что уже все знают и чем никто, кроме лирика, не может и не хочет пользоваться. Другие паразиты, более крупные, эксплуатируют в свою пользу не крупицы чувства и не зародыши мысли, а целые большие чувства и целые развившиеся мысли. Этими жрецами чистого искусства поглощаются замечательные теории и величественные мирозерцания. Есть между этими жрецами воробьи, но есть и слоны, и так как большому кораблю и большое плаванье, то слоны, разумеется, овладевают самыми широкими и самыми смелыми мирозерцаниями. Они толкуют с чужого голоса о самых важных и великих вопросах жизни; они разыгрывают свои вариации с таким апломбом и с таким оглушительным треском, что читатель робеет и почтительно склоняет перед ними голову. Но храм чистого искусства одинаково отворен для всех своих настоящих поклонников, для всех жрецов, чистых сердцем и невинных в самостоятельной работе мысли. Благодаря

этому обстоятельству читатель, изумляясь и не веря глазам своим, увидит за одним и тем же жертвенником с одной стороны — нашего маленького лирика, г. Фета, а с другой стороны — нашего большого юмориста, г. Щедрина. Это с непривычки столь удивительно, что надо начать новую главу.

III

Да, г. Щедрин, вождь нашей обличительной литературы, с полной справедливостью может быть назван чистейшим представителем чистого искусства в его новейшем видоизменении. Г. Щедрин не подчиняется в своей деятельности ни силе любимой идеи, ни голосу взволнованного чувства; принимаясь за перо, он также не предлагает себе вопроса о том, куда хватит его обличительная стрела — в своих или в чужих, «в титулярных советников или в нигилистов»*. Он пишет рассказы, обличает неправду и смешит читателя единственно потому, что умеет писать легко и игриво, обладает огромным запасом диковинных материалов и очень любит потешиться над этими диковинками вместе с добродушным читателем. Вследствие этих свойств автора его произведения в высшей степени безвредны, для чтения приятны и с гигиенической точки зрения даже полезны, потому что смех помогает пищеварению, тем более что к смеху г. Щедрина, заразительно действующему на читателя, вовсе не примешиваются те грустные и серьезные ноты, которые слышатся постоянно в смехе Диккенса, Теккерея, Гейне, Берне, Гоголя и вообще всех не действительно статских, а действительно замечательных юмористов. Г. Щедрин всегда смеется от чистого сердца, и смеется не столько над тем, что он видит в жизни, сколько над тем, как он сам рассказывает и описывает события и положения; измените слегка манеру изложения, отбросьте шалости языка и конструкции, и вы увидите, что юмористический букет значительно выдохнется и ослабеет. Чтобы рассмешить читателя, г. Щедрин не только пускает в ход грамматические и синтаксические *salto mortale*** , но даже умышленно искажает жизненную и бытовую правду своих рассказов; главное дело — ракету пустить и смех произвести; эта цель оправдывает все средства,

* Сия последняя острота, побивающая разом и титулярных советников и нигилистов, украшает собою страницы «Современника» (см. «Наша общественная жизнь»), 1864 г., январь. — *Примечание Д. И. Писарева*¹.

** Буквально: смертельный прыжок (итал.). Здесь в переносном смысле: ухищрения. — *Ред.*

узаконяет собою всякие натяжки и, разумеется, достигается, потому что все остальное без малейшего колебания приносится ей в жертву.

Эта особенность в литературной деятельности г. Щедрина объясняет в значительной степени постоянный успех его произведений. Когда мы были расположены ворковать по-голубиному, тогда мы упивались г. Фетом; когда мы пожелали смеяться, тогда мы стали обожать г. Щедрина; смех во всяком случае представляет собою более нормальное отправление человеческого организма, — чем воркование, и поэтому переход от г. Фета к г. Щедрина обозначает собою некоторый прогресс в нашем умственном развитии. Но беспредметный и бесцельный смех г. Щедрина сам по себе приносит нашему общественному сознанию и нашему человеческому совершенствованию так же мало пользы, как беспредметное и бесцельное воркование г. Фета. Мы легко можем заснуть на этом смехе и, продолжая смеяться, воображать себе, что мы делаем дело, идем за веком и обновляем нашим невинным смехом старые бытовые формы. Смех г. Щедрина убаюкивает и располагает ко сну, потому что, возбуждая собою этот серебристый смех, все тяжелое безобразие нашей жизни производит на нас легкое и отрадное впечатление. Мы смеемся и теряем силу негодовать; личность веселого рассказчика и неистощимого балагура заслоняет от нас темную и трагическую сторону живых явлений; мы смеемся и склоняем голову на подушку и тихо засыпаем, с детскою улыбкою на губах. Вот тут мы и можем измерить громадное расстояние, отделяющее людей, действительно чувствующих, от тех людей, которые служат с безукоризненным усердием чистому искусству. Сравните, например, Писемского с г. Щедриным. — Г. Щедрин — писатель, приятный во всех отношениях; он любит стоять в первом ряду прогрессистов, сегодня с «Русским вестником», завтра с «Современником», послезавтра еще с кем-нибудь, но непременно в первом ряду; для того чтобы удерживать за собою это лестное положение, он осторожно производит в своих убеждениях разные маленькие передвижения, приводящие незаметным образом к полному повороту налево кругом. В конце пятидесятых годов г. Щедрин своим отрицанием соорудил фигуру идеального чиновника Надимова²; но, по свойственной ему осторожности, автор «Губернских очерков» не произнес в этом направлении последнего слова; это слово, как известно, было произнесено графом Соллогубом, которого наши добрые соотечественники сначала на руках носили, а потом, разумеется, осмеяли. Когда великосветский литератор таким образом опростоволосился, когда идеальный чиновник был доведен до последних границ картонности трудами чувствительных писателей, — подобных г. Львову, тогда г. Щедрин,

счастливого выбравшийся из этого кораблекрушения, тотчас начал растирать в порошок фигуру Надимова, и притом растирать ее тем же самым отрицанием, которым он ее соорудил. Из тона г. Каткова он перешел в тон Добролюбова. Держась постоянно хорошего общества, т. е. общества прогрессистов, г. Щедрин постоянно вел себя «чинно, благопристойно и вежливо», соблюдая «чистоту и опрятность в одежде», т. е. он никогда не огорчал своих товарищей по прогрессу какою-нибудь резкою выходкою, хотя случалось нередко, что он не попадал в такт людей, к образу мыслей которых он пристраивался сбоку. Формулярный список г. Щедрина как литератора совершенно чист; литературная служба его беспорочна; служил в «Русском вестнике», служит теперь в «Современнике»; удовлетворял прежде одним требованиям, теперь так же хорошо и отчетливо удовлетворяет другим; ни тогда, ни теперь он не произвел такого скандала, который бы изумил читателей и привел в негодование лучших представителей нашего общественного сознания. Г. Писемского, напротив того, нельзя назвать даже просто приятным писателем; сходится он с людьми самых сомнительных убеждений и ведет себя часто совершенно «бесчинно, неблагопристойно и невежливо»; скандалы производит на каждом шагу, и упреки в обскурантизме сыпятся на него со всех сторон; он неразвит и необразован и вполне заслуживает эти упреки своею грубою бестактностью. Но вот что любопытно заметить. Г. Щедрин, как действительно статский прогрессист, должен, очевидно, осуждать нашу родимую безалаберщину гораздо строже и сознательнее, чем г. Писемский, которого образ мыслей загроможден предрассудками, противоречиями и разлагающимися остатками кошихинской старины³. Между тем на поверку выходит, что произведения г. Писемского каждому непредубежденному читателю внушают гораздо более осмысленной ненависти и серьезного отвращения к безобразию нашей жизни, чем сатира и рассказы г. Щедрина. <...> ...романы и повести неприятного обскуранта Писемского действуют на общественное сознание сильнее и живительнее, чем сатиры и рассказы приятного во всех отношениях и прогрессивного г. Щедрина. Когда г. Писемский начинает рассуждать, тогда хоть святых вон носи, но когда он дает сырые материалы, тогда читателю приходится задумываться над ними очень глубоко. Г. Щедрин, напротив того, очень отчетливо и благообразно рассуждает по Добролюбову, очень мило смешит читателя до упаду своею простодушною веселостью; но вы можете прочитать от доски до доски все его сатиры и рассказы, и вы ни над чем не задумаетесь... <...> Г. Писемский способен написать роман с самыми непозволительными тенденциями, и он вполне

обнаружил эту способность в своем последнем, отвратительном произведении⁴, но зато он способен написать и такую вещь, которая, как его «Тюфяк», характеризует грязь нашего провинциального общества гораздо полнее и ярче, чем все юмористические диссертации г. Щедрина о «наших глуповских делах»⁵; зато он создал «Горькую судьбину» и «Батьку» и в этих произведениях очертил трагическую сторону крепостного права с такою страшною силою, которая останется навсегда недоступною для г. Щедрина. Г. Писемского вы сегодня можете ненавидеть, и ненавидеть за дело, но вчера вы его любили, и любили также за дело; что же касается до г. Щедрина, то его не за что ни любить, ни ненавидеть; в его книге нельзя видеть ни друга, ни врага; его книга не что иное, как веселый собеседник, с которым приятно бывает побалагурить час-другой после хорошего обеда или на сон грядущий.

Зная беззаботные нравы наших возлюбленных соотечественников и принимая в расчет невинность щедринского юмора и разразительную веселость его добродушного смеха, мы с читателем в одну минуту сообразим, почему г. Щедрин с первого появления своего на литературном поприще вошел во вкус нашей читающей публики, и преимущественно тех самых классов общества, которые сатира его преследует с неумолимым постоянством. Конечно, провинциальные чиновники с самого начала было переконфузились, полагая что сатира служит предвестницею грома; но так как гром не грянул, то догадливые провинциалы скоро успокоились, возлюбили веселого г. Щедрина всем сердцем своим и продолжают любить его вплоть до настоящего времени. Оно и естественно. В том обществе, в котором «Сын отечества» имеет десятки тысяч читателей, г. Щедрин неизбежно должен считать десятки тысяч поклонников. Легкая наука «Сына отечества»⁶, и легкий смех г. Щедрина, и легкая мечтательность г. Фета связаны между собою тесными узами умственного родства. Все эти писатели пишут для процесса писания, а публика всех их читает для процесса чтения. Из этого происходит удовольствие взаимное, безгрешное и пренепорочное.

IV

Но читатель мне не верит; читатель убежден, что я преувеличиваю. Я с своей стороны совершенно одобряю недоверие читателя, потому что терпеть не могу, чтобы мне верили на слово. Я тотчас выдвину вперед доказательства; я выберу из сочинений г. Щедрина несколько смехотворных пассажей, и мы с читателем посмотрим,

в чем заключается их юмористическая соль. Предупреждаю, что выписок будет премного, потому что коли доказывать, так уж доказывать неотразимо⁷. <...>

Изображается сцена, характеризующая коренные обычаи Глупова: «В это хорошее, старое время, когда собирались где-либо “хорошие” люди, не в редкость было услышать следующего рода разговор:

— А ты зачем на меня, подлец, так смотришь? — говорил один “хороший” человек другому.

— Помилуйте... — отвечал другой “хороший” человек, нравом помирнее.

— Я тебя спрашиваю не “помилуйте”, а зачем ты на меня смотришь? — настаивал первый “хороший” человек.

— Да помилуйте-с... ..И бац в рыло!..

— Да плюй же, плюй ему прямо в лохань (так в просторечии назывались лица “хороших” людей!), — вмешивался случавшийся тут третий “хороший” человек.

И выходило тут нечто вроде светопреставления, во время которого глазам сражающихся, и вдруг и поочередно, представлялись всевозможные светила небесные... (стр. 418)⁸.

Вы смеетесь, читатель, и я тоже смеюсь, потому что нельзя не смеяться. Уж очень большой артист г. Щедрин в своем деле! Уж так он умеет слова подбирать; ведь сцена-то сама по себе вовсе не смешная, а глупая, безобразная и отвратительная; а между тем впечатление остается у вас самое легкое и приятное, потому что вы видите перед собою только смешные слова, а не грязные поступки; вы думаете только о затеях г. Щедрина и совершенно забываете глуповские нравы. Я знаю, что эстетические критики называют это просветляющим и примиряющим действием искусства, но я в этом просветлении и примирении не вижу ничего, кроме одуряющего. Рассказ должен производить на нас то же впечатление, какое производит живое явление; если же жизнь тяжела и безобразна, а рассказ заставляет нас смеяться приятнейшим и добродушным смехом, то это значит, что литература превращается в щекотание пяток и перестает быть серьезным общественным делом. Чтобы предлагать людям такое чтение, не стоит отрывать их от карточных столов. <...> Если Писемский своими грубыми ухватками оскорбляет наши временные симпатии, то г. Щедрин своим юмористическим добродушием обнаруживает непонимание вечных интересов человеческой природы. Есть язвы народной жизни, над которыми мыслящий человек может смеяться только желчным и саркастическим смехом; кто в подобных случаях смеется ради пищеварения, тот сбивает с толку

общественное сознание, тот усыпляет общественное негодование, тот ругается над священной личностью человека и, стоя в первых рядах прогрессистов, юродствует хуже всякого обскуранта. Но зато выходит *joli* и даже *tres joli**.

<...> А ведь много есть добродушных и доверчивых читателей, которые, зная г. Щедрина как весьма передового прогрессиста, будут искать в его шутках какого-нибудь высшего и таинственного смысла; они даже не поверят заглавию книжки: «Невинные рассказы». Скажут: знаем мы тебя, какой ты невинный! — и все-таки будут искать, и, разумеется, каждый найдет все, что захочет найти. В бессмыслице всегда можно увидеть какой угодно смысл, именно потому, что нет в ней своего собственного, ясного и определенного смысла. И когда каждый найдет все, что захочет найти, то, конечно, слава г. Щедрина как передового прогрессиста, соединяющего глубокомыслие с остроумием, упрочится и распространится пуще прежнего. Тут весь секрет тактики состоит в том, чтобы говорить неясно и игриво, не договаривая до конца и давая чувствовать, что и рад бы, да нельзя, потому что не время, потому что не поймут. Это была всегдашняя тактика всех дипломатов, но так как наша читающая публика до сих пор еще особенно доверчива, то морочить ее и дразнить ее ребяческое любопытство гиероглифическими шутками несравненно легче, чем водить за нос ту европейскую публику, перед которою Талейран и Меттерних умели прикидываться мировыми гениями. Для этого не надо обладать даже тою дозою дешевого ума, которою обладали Меттерних и Талейран; для этого достаточно усвоить себе известного рода сноровку и жаргон. Как простодушна и доверчива наша публика, это можно видеть на самом г. Щедрине; наш сатирик ухитрился самого себя обморочить жаргоном и сноровкою своего собственного изобретения; он не шутя принимает себя за глубокомысленного прогрессиста, соединяющего кротость голубя с мудростью змия; в своем заглавии «Невинные рассказы» он думал затаить глубокую и горькую иронию; он думал, что невинность будет только внешним лаком, сообщающим его рассказам необходимое благообразие, но соскоблите этот лак, и под ним вы опять увидите невинность; скоблите дальше, скоблите до самой сердцевины, и везде одно и то же, невинность да невинность, может быть угнетенная, но угнетенная чисто по недоразумению, угнетенная потому, что угнетатели также обморочены таинственностью жаргона и сноровки. А то и угнетать было бы нечего.

* Недурно и даже очень недурно (*фр.*). — *Ред.*

Во всех сочинениях г. Щедрина без исключения нет ни одной идеи, которая бы в наше время не была известна и переизвестна каждому пятнадцатилетнему гимназисту и кадету; но так как эта идея показывается из-под полы, с таинственными предосторожностями и лукавыми миганиями, то публика и хватает ее, как самую новейшую диковинку и как вернейший талисман против всякого умственного недуга. Конечно, публика разочаровалась бы, увидавши, что ей всучили медную копеечку вместо червонца, но ей не дают всмотреться в дело; ее смешат до упаду, и она остается совершенно довольною, закрывая книгу в полной уверенности, что она и либерализмом побаловалась и душу свою натешила. Ну, значит, сделала дело, и спать ложись. Тактика хорошая и плоды приносит обильные. Публике весело, а г. Щедрина и подавно.

Приведу еще три примера; в них обнаружится до последней степени ясности глубокая невинность и несложность тех пружинок, которыми г. Щедрин надрывает животики почтеннейшей публике. Его сивушество князь Полугаров (смейтесь же, добрые люди!), всех кабаков, выставок и штофных лавочек всерадостный обладатель и повелитель, говорит речь: «От определения обращусь к самому делу, то есть к откупам. Тут, господа, уж не то, что “плев сто рублѐв”, тут пахнет миллионами, а запах миллионов — сильный, острый, всем любезный, совсем не то, что запах теорий; чем заменить эти миллионы? Какою новою затыкаемостью заткнуть эту старую поглощаемость?»⁹ Что может сказать читатель, прочитавши это удивительное место? Может сказать совершенно справедливо: «Кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?»¹⁰ Эта фраза будет заимствована читателем у самого г. Щедрина, и наш неистощимый сатирик погибает таким образом под ударами своего собственного остроумия. Заметьте еще, что история о князе Полугарове, растянутая на несколько страниц, предлагается публике в то время, когда откупа уже не существует; заметьте, что, по рассказам самого г. Щедрина, шалимовский гимназист, процветающий в городе Глупове, уже отвертывается с презрением от администратора, желающего поддержать откупную систему¹¹; сообразите-ка эти обстоятельства и поставьте себе тогда вопрос: не есть ли смех г. Щедрина бесплодное проявление чистого искусства, подобное лирическим вздыханиям гг. Фета, Крестовского и Майкова? Посмотрим, как-то вы на этот вопрос ответите. <...>

Г. Щедрин, сам того не замечая, в одной из глуповских сцен превосходно охарактеризовал типические особенности своего собственного юмора. Играют глуповцы в карты:

«— Греческий человек Трефандос! — восклицает он (пехотный командир), выходя с трэф.

Мы все хохочем, хотя Трефандос этот является на сцену аккуратно каждый раз, как мы садимся играть в карты, а это случается едва ли не всякий вечер.

— Фики! — продолжает командир, выходя с пиковой масти.

— Ой, да перестань же, пострел! — говорит генерал Голубчиков, покатываясь со смеху: — ведь этак я всю игру с тобой перепутаю»¹².

Не кажется ли вам, любезный читатель, после всего, что вы прочитали выше, что г. Щедрин говорит вам: «Трефандос» и «Фики», а вы, подобно генералу Голубчикову, отмахиваетесь руками и, покатываясь со смеху, кричите бессильным голосом: «Ой, да перестань же, пострел! Всю игру перепутаю»... Но неумолимый остряк не перестает, и вы действительно путаете игру, т. е. сбиваетесь с толку и принимаете глуповского балагура за русского сатирика. <...> Развращать ум нашей молодежи «нутряным смехом Иванушки-дурачка» так же предосудительно, как щекотать ее нервы звучными бессмыслицами лирической поэзии. Первое опаснее последнего: над лириками молодежь уже смеется, а сатирикам она еще доверяет, особенно тем из сатириков, которым удалось прикрыться почтенною фирмою замечательного журнала, который еще долго будет представляться высокой силой его прошлого деятеля. Как эти патентованные сатирики пользуются выгодами своего положения, как они эксплуатируют доверие публики вообще и молодежи в особенности — это мы с читателем уже отчасти видели и увидим еще впереди.

V

Г. Щедрину приходится иногда изображать трагические происшествия: у него в рассказах встречаются два сумасшествия и одно самоубийство. Но г. Щедрин твердо убежден в том, что глуповского чиновника всегда следует обличать и осмеивать; поэтому он не рассказывает о помешательстве Зубатова и Голубчикова, а язвительно обличает того и другого в этом непрогрессивном проступке. Трагические происшествия передаются таким образом читателю весело и игриво, а читатель, разумеется, принимает их с благодарностью, как новую юмористическую интермедию. Что касается до самоубийства, то тут дело совсем другое; так как действующими лицами являются в этом случае два крепостные мальчика, то г. Щедрин, желая разыграть самым блистательным образом роль гуманного прогрессиста, натя-

гивает трагические струны своего повествовательного таланта так туго, что они обрываются до конца рассказа; видя, что эпическая сила изменяет ему и что из нее уж не выжмешь больше никакого раздирательного эффекта, г. Щедрин смело кидается в лирическое юродство и буквально начинает голосить и выкликать над несчастными ребятами, которым и без того тошно на свете жить. <...>

У читателя давно уже вертится на языке вопрос: да разве есть теперь крепостные мальчики? — Нет, нету. — Так как же это они себя убивать могут? — Да они убивают себя не теперь, а прежде, давно, во время оно. — А если прежде, во время оно, то с какой же стати повествуется об этом событии теперь, во время *сие*? — Не знаю. Должно быть, г. Щедрин позавидовал литературной славе нашего Вальтер-Скотта, графа А. Толстого, описавшего с такую наглядностью все кушанья, подававшиеся на стол Ивана Грозного?¹³ Или он хотел состязаться с нашим Шекспиром, г. Островским, изобразившим с таким счастливым успехом Козьму Минина и все его видения?¹⁴ Или он боялся, что вновь восстановится крепостное право, и пожелал противодействовать такому пассажи кроткими мерами литературного увещания? Или же он постарался поразить своим пером прошедшее, чтобы сделать приятный и любезный сюрприз настоящему? Последнее предположение кажется мне всего более правдоподобным, потому что всякому жрецу чистого искусства должно быть чрезвычайно лестно соединить в своей особе блестящую репутацию русского Аристофана с полезными достоинствами современного Державина, который, как известно, говорил истину с улыбкою самого обезоруживающего и обворожительного свойства¹⁵.

Г. Щедрин прекрасно сделает, если пойдет вперед по этому пути, но, становясь на чисто эстетическую точку зрения и заботясь о чистоте нашего литературного вкуса, я позволяю себе выразить желание, чтобы на будущее время г. Щедрин, слагая свои оды, строже придерживался литературных преданий и приемов чисто классической школы. <...>

Я знаю, что г. Щедрин принадлежит к числу тех писателей, которые до поры до времени пользуются сочувствием молодежи, но с которою у них нет ничего общего; мне кажется, что сочувствие это не обдуманно и не проверено критическим анализом; молодежь смеется, читая г. Щедрина, молодежь привыкла встречать имя этого писателя на страницах лучшего из наших журналов, и молодежь поддается веселым впечатлениям, потому что ей не приходит в голову отнести к этим впечатлениям с недоверием и с вопросительным знаком. Но мне кажется, что влияние г. Щедрина на молодежь

может быть только вредно, и на этом основании я стараюсь разрушить пьедестальчик этого маленького кумира и произвожу эту отрицательную работу с особенным усердием именно потому, что тут дело идет о симпатиях молодежи. Я хочу уничтожить эти симпатии, и если они действительно приносят молодым людям только вред, то уничтожение их, и, следовательно, попытка в отрицательном роде, будет полезнее для нашего поколения, чем самая горячая похвала Базарову и Лопухову и самая едкая полемика против г. Каткова. <...> ...дельное отрицание приносит обществу гораздо больше пользы, чем справедливая похвала, воздаваемая существующим фактам. Г. Щедрин поступает как раз наоборот.

VI

Если мы, с высоты птичьего полета, бросим общий взгляд на рассказы г. Щедрина, то нам придется изумляться бедности, мелочности и однообразию их основных мотивов. Все внимание сатирика направлено на вчерашний день и на переход к нынешнему дню; хотя этот переход совершился очень недавно, но он, очевидно, составляет для нас прошедшее, совершенно законченное и имеющее чисто исторический интерес; а историю эту писать еще слишком рано, да и совсем это не щедринское дело. Конечно, крепостное право так глубоко отравило все отправления нашей народной жизни, что тяжелая старина долго еще будет давать себя чувствовать в разных воспоминательных ощущениях весьма неприятного свойства; конечно, и чиновничество долго еще будет жить старинными преданиями классической школы, перекроенными и перекрашенными сообразно с требованиями новейшей моды; все это так, но все эти отпрыски срубленных деревьев надо изучать именно в их теперешних видоизменениях; и, чтобы изучать их, нет никакой необходимости восходить ни к тем векам, когда деревья стояли на корню, ни к тем минутам, когда деревья стали трещать под топором. <...> ...никому в голову не приходит требовать и ожидать от г. Щедрина истории, а сатира хороша только тогда, когда она современна. Что мне за охота и за интерес смеяться над тем, что не только осмеяно, но даже уничтожено законодательным распоряжением правительства. <...>

Но г. Щедрин игнорирует это простое требование здравого смысла, и потому почти все действующие лица его рассказов смотрят мертвецами, выкопанными из могил, нарочно для того, чтобы повеселить читателя. Ретрограды, перепуганные зловещими слухами, чиновники, перепуганные невиданными предписаниями, и, кроме

того, глуповцы, плюющие друг другу в лохань, выпивающие «по маленькой» и каждый вечер потешающиеся «Трефандосами», — вот и все содержание сатирических рассказов. Глупов, блаженствующий в своем нетронутом спокойствии, и Глупов, только что взбудораженный слухами о преобразованиях, — вот и все; а ведь, кажется, пора бы это бросить, потому что вся наша журналистика молотила, молотила эту тощую копну плохой ржи, да и молотить устала. Всем надоело — и писателям и читателям; да и наконец, кроме соломы, тут ничего больше и не осталось. Так уж это избито, что можно изменять только слова, а новой, нетронутой черты не отыщет самый пронизательный сатирик. Поэтому бросьте прошедшее, ищите в настоящем, а если настоящее еще не выработало себе особенной физиономии, если вы не умеете уловить того процесса брожения, которым вырабатываются эти новые черты, то бросьте сатиру, бросьте совсем нашу истрепавшуюся беллетристику, обратившуюся с некоторого времени для наших писателей в какую-то казенную или барщинную работу. — Эти слова обращены не к г. Щедрина, а вообще ко всем нашим второстепенным беллетристам. А кто же теперь не второстепенный? Чернышевский, Тургенев, может быть Островский — и только. <...>

Не знаю, как другие, а я радуюсь этому увяданию нашей беллетристики и вижу в ней очень хорошие симптомы для будущей судьбы нашего умственного развития. Поэзия, в смысле стиходелания, стала клониться к упадку со времен Пушкина; при Гоголе романисты или вообще прозаики заняли в литературе то высшее место, которое занимали поэты... <...> Но, одержавши победу над стиходеланием, беллетристика сама начала утрачивать свое исключительное господство в литературе; первый удар нанес этому господству Белинский; глядя на него, Русь православная начала понимать, что можно быть знаменитым писателем, не сочинивши ни поэмы, ни романа, ни драмы. Это было великим шагом вперед, потому что добрые земляки наши выучились читать критические статьи и понемногу приготовились таким образом понимать рассуждения по вопросам науки и общественной жизни. Когда эти рассуждения сделались возможными, тогда Добролюбов и Чернышевский стали продолжать дело Белинского; в это же время «Русский вестник» проторил себе свою особенную дорожку, на которой он до сих пор с большим успехом виляет; но как ни предосудительна его деятельность с гражданской точки зрения, однако надо отдать ему справедливость; своими статьями об Англии и своими политическими обозрениями он также содействовал тому общему движению мысли, которое постепенно оттесняло на задний план беллетристику и искусство вообще. <...>

Теперь пора бы сделать еще шаг вперед: недурно было бы понять, что серьезное исследование, написанное ясно и увлекательно, освещает всякий интересный вопрос гораздо лучше и полнее, чем рассказ, придуманный на эту тему и обставленный ненужными подробностями и неизбежными уклонениями от главного сюжета. <...>

Но если в руках писателей, имеющих свои собственные идеи, беллетристическая форма может еще приносить обществу пользу, то, напротив того, попадая в руки писателей, нищих духом, эта форма становится положительно вредною. Она превосходно маскирует их бедность, вводит читателей в ошибку и, что всего хуже, возбуждает в рядах молодежи охоту подражать таким произведениям, которые составляют пустоцвет и сорную траву нашей умственной жизни. Г. Щедрин взял из добролюбовского «Свистка» манеру относиться недоверчиво к нашему официальному прогрессу; естественный, живой и глубоко-сознательный скептицизм Добролюбова превратился у его подражателя в пустой знак, в кокарду, которую он прищипливает к своим рассказам для того, чтобы сообщить им колорит безукоризненной прогрессивности. Если бы г. Щедрин писал не рассказы, а научные или критические статьи, то эта форменная безукоризненность очень скоро надоела бы всем читателям... <...> Если бы г. Щедрин не был блестящим беллетристом и если бы вследствие этого он был принужден побольше читать и размышлять, тогда он не питал бы вышеозначенного убеждения и понимал бы некоторые вещи, которых он теперь не понимает и которые поэтому постараюсь ему объяснить.

Смеяться над безобразием глуповца все равно, что смеяться над уродством калеки, или над дикостью дикаря, или над неопытностью ребенка; все эти смехи не дают решительно ничего ни тому, кто смеется, ни тому, кого осмеивают. Смеяться полезно только над идеею, потому что в этом случае смех есть сам по себе новая идея, отрицающая старую и становящаяся на ее месте. Осмеивать идею — значит доводить ее до абсурда и показывать таким образом ее несостоятельность, но показывать так живо и так ясно, чтобы аргументация не утомляла читающую массу, чтобы эта аргументация иногда сосредоточивалась вся в одном эпитете, в одном намеке, в одной веселой шутке; такой смех действительно способен выворачивать наизнанку целые тысячелетние мирозерцания: стоит назвать только два имени — Вольтер и Гейне. Не всякий — Вольтер и Гейне, но всякий человек, обладающий светлым умом и сатирическим талантом, может и должен пристраивать свой смех туда, где он имеет какой-нибудь смысл. А если он не умеет этого сделать, то ведь его никто и не принуждает смеяться публично. Пусть смеется

над глуповскими «Трефандосами» с добрыми приятелями, в тиши своего уютного кабинета. Что же касается до ограждения молодежи от возвращения к старине, то и тут смех г. Щедрина равняется нулю. Нас ограждает от пошлости не смех над пошлостью, а то внутреннее содержание, которое дает нам чтение и размышление. <...>

Конечная цель лежит очень далеко, и путь тяжел во многих отношениях; быстрого успеха ожидать невозможно; но если этот путь к счастью, путь умственного развития, оказывается необходимым, единственно верным путем, то это вовсе не значит, чтобы следовало исключить из истории все двигатели событий, кроме опытной науки. Народное чувство, народный энтузиазм остаются при всех своих правах; если они могут привести к цели быстро, пускай приводят. Но литература тут ни при чем: она ничего не может сделать ни для охлаждения, ни для разогревания народного чувства и энтузиазма; тут действуют только исторические обстоятельства; журналистика старается обыкновенно попадать в тон общего настроения, но это попадание содействует только успеху журнала, но вовсе не приносит пользы важному и общему делу. Литература может приносить пользу только посредством новых идей; это ее настоящее дело, и в этом отношении она не имеет соперников. — Если даже чувство и энтузиазм приведут к какому-нибудь результату, то упрочить этот результат могут только люди, умеющие мыслить. Стало быть, размножать мыслящих людей — вот альфа и омега всякого разумного общественного развития. Стало быть, естествознание составляет в настоящее время самую животрепещущую потребность нашего общества. Кто отвлекает молодежь от этого дела, тот вредит общественному развитию. И потому еще раз скажу г. Щедрина: пусть читает, размышляет, переводит, компилирует, и тогда он будет действительно полезным писателем. При его умении владеть русским языком и писать живо и весело он может быть очень хорошим популяризатором. А Глупов давно пора бросить.

